

ОУИ НБ МГУ №1973

О советских тюрьмах 1970–х годов, тюремной еде и первом опыте противостояния насилию в камере

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1973>

🗓 13 апреля 2016

Собеседник

Григорьянц Сергей Иванович

Ведущий

Петров Сергей Геннадьевич

Дата записи

Беседа записана 13 апреля 2016 и опубликована 26 апреля 2018.

Введение

Четвертая беседа с правозащитником и коллекционером Сергеем Григорьянцем — это продолжение рассказа о первом тюремном заключении. Он подробно описывает атмосферу советских тюрем 1970-х годов и приводит страшные эпизоды тюремной жизни: конфликт в камере с группой молодых заключенных, избиения и убийства в карцере, делится собственным опытом долгих протестных голодовок. Некоторая отстраненность, с которой Григорьянц рассказывает о пережитом, только подчеркивает масштаб этого опыта.

Сергей Иванович Григорьянц: То есть что мы делаем? Дополняем то, что я пропустил?

Сергей Геннадьевич Петров: Ну, давайте... давайте попробуем дополнить, да. И дальше мы перейдем к тому этапу, на котором мы остановились в прошлый раз, а именно приговор и собственно тюремный срок.

С. Г.: Хорошо. Ну, во-первых, [в прошлой беседе] мы говорили о том, кто какие давал показания. И я мельком упомянул то, что описано в [«Трагедии Николая Харджиева»](#) о том, какую роль сыграл Юра Милко в том, что я все-таки дал следователю хотя бы мелкую зацепку. Ну, им действительно со мной было трудно, потому что даже в тунеядстве меня нельзя было обвинить — у меня был договор с «Жизнью замечательных людей» на книгу о Боровиковском, я действительно там уже главы полторы написал с большим удовольствием. Ну конечно, Семанов тут же написал, что он разрывает договор со мной и что «Жизни замечательных людей» книга о Боровиковском не нужна. Но, тем не менее, когда меня арестовали, договор-то был! Кроме того в это время кроме Союза писателей существовали такие организации, которые назывались группками ... Вот это как раз были профессиональные организации литераторов. Ну, членом группкома, например, до тех пор, пока его не заставил Полевой написать заявление в Союз писателей, был Шаламов. Членом группкома, когда его исключили из Союза писателей, был Пастернак. И само объявление о его смерти в «Литературной газете» именно так и звучало, что такого-то числа скончался член группкома писателей Борис Пастернак.

А на самом деле там были люди в группкомах, которые и впрямь жили литературным трудом, но по разным причинам или не были приняты, или не хотели вступать в Союз писателей. И, соответственно, я был членом группкома, так что это тоже было вполне официальное... и печатался и ну, в общем, ко мне трудно было предъявить какие-то претензии. Но, тем не менее, меня действительно очень раздражало то, что вот уже прошли полгода и не теребили людей в Ленинграде, в Киеве. Там такой коллекционер, литературовед и, в общем, симпатичный человек Юрий Алексеевич Ивакин в Киеве, явно под давлением вынужден был написать, что я совершил с ним невыгодный для него обмен, хотя на самом деле все было наоборот: он получил два шедевра — два рисунка Чекрыгина, а я, в общем, довольно плохонький поздний рисунок... книжки Крученых, вот. Или, что потом имело значение, такой тоже киевский коллекционер Игорь Дыченко написал (с которым я никогда не менялся, у которого я никогда не купил ничего, и он у меня не купил ничего, и мы были только знакомы) тоже какие-то пакости. То есть, ну вот... вот, было очевидно... Ну, и тоже достаточно противным было то, что написал крупный питерский коллекционер Сергей Петрович Варшавский... Причем это совершенно ничего не касалось, касалось, в общем, я не знаю, развлечений, еще чего-то и... Поповы, мои друзья, со своим стариннейшим приятелем просто перестали иметь дело на всю жизнь. И как Шустер и Санович [ни] пытались их примирить — это никогда не произошло больше. Вот, я об этом пишу в своих воспоминаниях о коллекционерах, вообще о жизни в 60-е годы, о том времени... «догутенберговской»... «догутенберговском», когда все было только устным, все было только в своих узких компаниях, абсолютно говорилось... доверенных людей. Ну, в общем, это отдельная сложная тема, но, тем не менее, вот. Где-то в другом месте я и об этом тоже рассказываю. Ну, конечно, меня это все очень раздражало, а об Игоре Дыченко мне потом напомнило КГБ, но это я расскажу позже. Ну, и вот какую-то зацепку я им все-таки, как я и говорил, дал, сказал, что все-таки литературовед, и я понимал, какая литература у меня, примерно так. *(Усмехается.)*

С. П.: Этого было достаточно?

С. Г.: Ну да. Ну, поскольку литература была определена как антисоветская... Ну, у них, с одной стороны, была масса как бы неприятных для них вещей, но с другой стороны, не было никаких доказательств. Скажем, у меня не изъяли такую большую подборку радиоперехвата. Это записывались и размножались, но опять-таки по особому списку передачи «Би-би-си», передачи «Голоса Америки», передачи...

С. П.: А, это называлось...

С. Г.: ...«Немецкой волны». Что?

С. П.: Это называлось радиоперехват, понятно.

С. Г.: Да.

С. П.: Я просто представил себе переговоры, скажем, милиционеров каких-то...

С. Г.: Нет, нет, нет. Это был официальный такой радиоперехват.

С. П.: Это как бы то, что до «глушилок» записывалось официально, то есть...

С. Г.: Ну, параллельно с «глушилками», потому что эти... те, кто записывали, сидели в одном месте, где не было «глушилок», а «глушилки»... Это были те самые передачи, которые «глушили». Вот, и у меня была такая вот подборка. Ну, была она на самом деле у меня из... инокомиссии Союза писателей — сейчас уже это вполне можно сказать — архив, который разбирал мой приятель Александр Богословский и все это мне отдал. Но там были номера, вообще, на каждом... Это были номерованные экземпляры, которые распределялись.



Я не без удовольствия в своем «деле» обнаружил бумагу о том, что не было списка, где какой-то номер был бы закреплен за каким-то доверенным человеком или учреждением, и поэтому в разное время разные номера попадали в разные места.

И у меня действительно это были разные номера. Ну, а я сказал, что, ну... я вообще интересуюсь редкими книгами, Ну вот, где-то случайно купил. Ну, то есть масса была таких вот вещей, которые, конечно, их очень раздражали. Какие-то перехваченные мои письма, какие-то... ну, известные им люди. Вот я тогда не смог вспомнить... которые привозили мне книги, например, Рене Герра, которого, вот, действительно выслали за это, чем он очень гордится. Ну, и так далее. У меня было ощущение, что они от меня все равно не отстанут, что просто чем дальше, тем это будет гнуснее, и лучше дать им какую-то такую зацепку. А я... Ну, что в этом... В «Матросской тишине» не было замечательной библиотеки, честно говоря, но все-таки какая-то была, все-таки это была не Лубянка, но ничего. И я вдруг себя поймал на том, как я иначе вот в этих условиях тюрьмы начал относиться к известным мне или... книгам или книгам, которые я просто вспоминаю, которые я не мог перечитать. Скажем, меня совершенно поразило воспоминание о книге Набокова... Сейчас одну секунду... Нет, не могу вспомнить. А, «Приглашение на казнь»!

С. П.: А, ну еще бы!

С. Г.: Да. А я не люблю... не любил Набокова и не люблю его до сих пор. Он, конечно, виртуозный писатель. Он, на мой взгляд, не русский писатель, у него другое отношение к слову, к фактуре. А еще при том, что для меня вообще была интересна Лесковско-Ремизовская струя в русской литературе, ну, как бы Набоков был совсем...

С. П.: Ну да.

С. Г.: ...этому противоположен. И вдруг я вспомнил «Приглашение на казнь» вот с этим... обязательным сотрудничеством в казни между палачом и жертвой. А уже в это время начало определяться то, что мне было в течение этого и следующего срока и то, что мне постоянно говорили с обидой в разных ситуациях следователи, тюремщики: «Почему вы нас за людей не считаете?» Вот, я их совершенно не воспринимал, и вот эти вот их попытки установить человеческие отношения, ну, пресекал всегда. Мне они казались параллельными как раз вот «Приглашению на казнь». Я никак не мог понять, как этот человек там, в Берлине мог понять такие вещи. Или внезапно перечел какую-то... какой-то из детективов Пристли...

С. П.: Это из тюремной библиотеки, да?

С. Г.: Из тюремной библиотеки, да. И там какой-то посторонний человек, герой Пристли, занимается расследованием, и потом кто-то из преступников, очевидно, или подозреваемых (я уже не помню) оказывается арестованным. И вот этот герой Пристли спрашивает своего приятеля — следователя

профессионального: ну, как он будет дальше себя вести, что он скажет на допросах? И следователь ему внезапно говорит — и это совершенно точная фраза, и опять-таки я совершенно не мог понять, как Пристли способен это понимать: «А никогда заранее нельзя сказать, как будет себя вести человек в тюрьме». И в этом я действительно в течение всей своей жизни убеждался много раз, кстати говоря, на собственном опыте потому что, как я уже говорил, я совершенно не думал, что я, в общем, способен сопротивляться. А люди, которые, наоборот, считают себя героями, очень часто как раз очень легко сдаются и придумывают себе какие-либо объяснения. Ну, в общем, этого действительно никто не знает ни о другом, ни о себе. Но вдруг это встретить у какого-то Пристли!

Ну, и потом тюрьма, понимаете, это ведь место, где ты подводишь свои личные итоги. И вот совершенно независимо от того, что... в чем тебя пытаются обвинить, что тебе говорят следователи — ну, по крайней мере, в моем случае — ну вот, я обдумывал... Ну, на самом деле, ну вот что дурное и хорошее сделал в своей жизни. В какой степени заслуживаю тюрьму. И вдруг начал наткаться на такие вот места. Ну, ведь на самом деле «Аленький цветочек» у Аксакова, если его воспринимать не как детскую сказку, в сокращенном виде, а полностью — это очень серьезная и жесткая книга. И там есть такая фраза, что никогда Бог не пошлет человеку того, что он не может выдержать. А у Мельникова-Печерского в каком-то из его рассказов есть такая ситуация, когда рассказчик встречается, по-моему, старообрядца где-то на дороге. И он знает о нем много, потому что это известный человек, который прожил... пробыл чуть ли не 25 лет на каторге по ложному обвинению. И он начинает... или пробует ему посочувствовать. Посочувствовать, может быть, спрашивает его, ну вот, это как, вот, вот, ложно же вас обвинили. А тот на него смотрит и говорит: «Нет, каждый получает то, что он заслужил». Он не считает себя ложно обвиненным. Пусть не по этому делу, но вот... Но я никогда не относился особенно хорошо, скажем, к Алексею Николаевичу Толстому. Естественно, много о нем знал, естественно, и все эти воспоминания Бунина и все... Я считал его приспособленцем... Но только в тюрьме, причем читая какие-то его ранние рассказы, дореволюционные, я вдруг так остро почувствовал... вот его внутреннюю легкомысленность... ну, которая потом ко всему и привела. Но... но вот тут просто из фактуры вот этих вот, я не помню, то ли крестьянских, то ли каких-то таких рассказов... В общем, в тюрьме литература воспринимается совершенно иначе, чем ты ее воспринимаешь в нормальных условиях.

Об атмосфере в тюрьме 1970–х гг.

С. П.: Скажите, а вот из вашего рассказа такое создается впечатление, что тюрьма — это такое место, ну, вроде кельи, где человек просто начинает размышлять, читает книжки. Ну, мы же знаем о советской тюрьме, ну, я не знаю, по тому же Шаламову, по Солженицыну, каким-то более поздним вещам мы знаем, что это место в общем суровое, некомфортное, где со всех сторон человек оказывается в непривычной, естественно, среде и где агрессивное отношение как со стороны тюремщиков, так и со стороны сокамерников. Вот почему-то, в вашем рассказе этого ничего нет. Вы как-то очень «закрылись» или... или вы все это отсекаете как-то. Вот, можете про это подробнее...

С. Г.: Нет, понимаете... Ну, во-первых, все-таки 70-е годы это были совсем не 30-е.

С. П.: Да, вот, это тоже очень интересно.

С. Г.: И мой опыт — это совершенно не опыт Шаламова. И даже не более благоприятный опыт Солженицына. Это все-таки другой опыт. Что-то я мельком вам говорил, ну действительно, у меня в камере сидел человек, который пытался меня и запугивать и... Ну, в общем, в тюрьмах того времени... были так называемые «пресс-хаты». То есть это были камеры уголовников, куда следователи, то есть теоретически тюремная администрация, но, конечно, по просьбе следователей сажала тех, кого... кто не поддавался, кого надо было, как они говорили, «расколоть», где зверски избивали, насиловали. И эти уголовники точно знали, что им ничего за это не будет. Но, больше того, знали, что они на все сто процентов в результате зависят от администрации, потому что если кто-нибудь из вот такой «пресс-хаты» попадал в нормальную камеру, его били смертным боем. Я встречал одного человека, действительно избитого в такой «пресс-хате»... Он не очень хотел рассказывать, что с ним было, не очень

было понятно, в чем дело. Там было какое-то якобы его нападение на — это был молодой человек — на какую-то девочку в лифте. Было оно или не было — в общем, доказать там нельзя было, ну, не знаю. Что с ним сделали в этой «пресс-хате», тоже было непонятно. То, что он был избит чудовищно, было видно, скажем так, невооруженный глазом, но... Но по описаниям это происходило таким образом, что человека бросали, как говорится на тюремном языке, в такую камеру, там от него требовали, чтобы он все о себе рассказал. Что бы он ни рассказал, все равно это тех, кто был в камере, не удовлетворяло, и его начинали избивать. Когда это прекращалось, ему говорили пойти... походи обмойся, но уже из умывальника ему смыть кровь не разрешали, а вот из унитаза. И место его оказывалось вот около параши, ну, и так далее. Скорее всего, таким образом выбивали нужные показания. Но я в такие камеры никогда не попадал. Всякие... Обычно такая камера вообще была одна на тюрьму. Со мной, во-первых, это нельзя было сделать, потому что... ну, после этого меня же надо показать в суде, и ко мне же придет адвокат, и... ну, вообще это все-таки уголовное дело, между прочим. Ну, и вообще это не было, по крайней мере, в Москве, широко распространенной практикой, хотя в каждой тюрьме, по-видимому, такая камера была. Чем дальше, тем все становилось хуже. Говорят, что сейчас зачастую это, особенно в провинциальных тюрьмах... Тюрьмы ведь разные, ну, когда-нибудь я вам это объясню дальше.

” Ну конечно, человек в тюрьме бесправен. Сейчас это часто происходит просто ради денег — тогда как будто такой проблемы вообще не было, потому что серьезных денег просто не было, а выбивают деньги.

Вот, в общем, сейчас это как... судя по тем материалам, которые иногда я тем не менее встречаю, все стало гораздо страшнее и гораздо ближе к 30-м годам. Но ближе не за счет... там... политической заинтересованности, а разнообразной экономической, поскольку попадают... арестовывают людей для того, чтобы забрать у него бизнес, арестовывают... И дальше, если он не сдается, то все, как я слышал, бывало очень страшно. Но и там вот, я дальше перейду к осужденке, вот, после суда. Но там тоже уже все было не так просто, как... Я думаю, понимаете, все-таки особенно на следствии... Я ведь никогда не был даже в уголовных камерах настоящих. Это все-таки были отобранные камеры... В уголовных камерах все жестче и серьезнее — дальше я в них попадал, поскольку бывал на пересылках и где угодно, в общем-то, уже. К тому же очень многое зависит от того, как ты строишь отношения со своими соседями.

Ну, потом когда-нибудь мы поговорим и о голодовках более серьезно, чем мы с вами говорили, и я уже попытаюсь посерьезнее вспомнить и Бобби Сэндса и ирландских террористов, и вообще как это происходит на самом деле в самых страшных обстоятельствах, а не в таких, в общем сравнительно либеральных. Понимаете, следственный изолятор — это все-таки место, где после этого там вот так вот зверски избивать можно только людей или не имеющих ни адвоката, ни родных или... ну, с родными совершенно бесправными, которые ничего... тебя не защитят. Все-таки Хрущев очень жестко изменил положение в лагерях и тюрьмах. Это было совсем другое положение, чем до войны.

С. П.: То есть в каком-то смысле вы застали такой, можно сказать, расцвет советской постсталинской тюрьмы, да? Потому что мы дальше говорим условно о 90-х годах, где несколько все изменилось, а перед этим о 30-х годах. Это вот некоторый такой период, который вы застали.

С. Г.: Да, да. И положение постоянно ухудшалось под влиянием Андропова, Горбачева, но, тем не менее, конечно, оно было все-таки... ну, совсем не таким, как в сталинское время.

С. П.: Ну, а как бы вы его в целом охарактеризовали, это время? Как, в общих словах, как вы видите разницу? Понятно, что не вы не сидели в 30-е годы, но какое-то представление у вас есть, очевидно.

С. Г.: Ну, во-первых... все-таки какое-то представление о законности там было. Там не было, понимаете — в 30-е годы — ну, было несколько совершенно определенных целей: скажем, уничтожение политических противников, по отношению к которым можно делать все, что угодно, создание рабской рабочей силы и, конечно, как вполне сознательная цель, ну вот, внедрение, до сих пор не ушедшее у русского человека, внедрение ощущения страха, а у кого-то ужаса, с чем, в общем, было и связано безоговорочное

подчинение. То есть, с одной стороны, безоговорочное подчинение, а с другой стороны, лукавая часто готовность славить власть, вождя.



Да, конечно, это замечательный самообман, но плюс к этому это же и выгодный самообман: хорошо себя обманывать, когда благодаря этому ты живешь относительно все-таки лучше других.

Вот. В хрущевское время не было этих целей. Не создавались трудовые армии. Ну, было редкое исключение, о котором, по-моему, никто никогда не сказал, но которое хорошо знали строители, инженеры. Вот их сажали легче, чем других, потому что, вот, были вот эти... Ну, все-таки были вот эти стройки химических заводов и так далее, которые осуществлялись в том числе и зеками. И вот, я несколько раз встречал строителей, которые говорили: «Ну, нас-то сажают первыми». Вот, ну, в общем, это было исключение, малоизвестное... ну, и, наверное, не всюду применявшееся. Но такой цели не было. Цели уничтожить политически противников, в общем, тоже не было. Во-первых, к этому времени уже политических противников не было. Ну вот, я был довольно редкий человек, который... которому никогда не были интересны никакие... никакая коммунистическая романтика, никакая... никакие ленинские заветы. Я не выбирал между ужасным Сталиным и необычайно прогрессивным Лениным и так далее. А ведь большинство диссидентов — это как раз люди которые пели вслед за Окуджавой, вместе с Булатом: «...если вдруг когда-нибудь... мне уберечься не удастся»*, — и ну, и так далее.

* Строчка из песни Б. Окуджавы «Сентиментальный марш».
<http://militera.lib.ru/poetry/russian/okudzhava/15.html>

Вот. Хрущев, в общем, вполне успешно, как сказал Яковлев, «с помощью Ленина мы убивали Сталина». Но дело было не только в том, что они «убивали» Сталина. «Убивали» Сталина не полностью и в разной степени. Но они утверждали собственную легитимность. И эта легитимность была, в общем, очевидна почти для всех в той или иной степени. И они... Ну, да, ну, можно было посадить этих людей, да, можно было отправить в психушку, но, в общем, совершенно незачем было их уничтожать. Ну, и... Страх тоже не насаждался — он уже был, как, в общем, для власти казалось, вполне в достаточной степени. Ну да, вот большое количество людей, гораздо большее, чем в тюрьмы и лагеря, сажали в психушки: если ты возмущался, если ты, это самое, тебя... Это отдельный сюжет, и я... А так, в общем... в общем, это было достаточно запуганное, достаточно покладистое общество. И, соответственно, и тюрьмы были другими: у них не было тех целей, которые были при Сталине.

После приговора

С. П.: Давайте тогда вернемся к этому событию, к приговору. Вот вам вынесли приговор. Давайте попробуем хронологически сейчас пойти. Что было после этого?

С. Г.: Ну, что, собственно говоря, еще до вынесения приговора, в первый же день, когда меня повезли в суд — я рассказывал об этом несчастном гебисте...

С. П.: Да.

С. Г.: ...который со мной ехал в «воронке» — вернули меня уже не в ту камеру, где я был... Назад меня привезли в камеру, которая называлась «осужденкой». То есть это были камеры, в которых содержали людей или, вот, во время суда или после суда, но до тех пор, пока приговор не вступил в законную силу, то есть пока он не был утвержден еще и следующей инстанцией. Ну, если первые две камеры, в которых я был, были более менее отобранные, то «осужденка» была попроще. Та, в которую попал я, была сравнительно безобидной, но тоже в ней было очень много малолеток, человек десять или пятнадцать. Вообще камера была больше, там было человек тридцать, может быть. То есть это были люди... молодые

люди, которые... которым только что исполнилось восемнадцать лет, и чаще всего их уже к этому времени осудили, но вот они ждали вступления приговора в законную силу. Но судили их как несовершеннолетних, а вот во время этого ожидания им исполнилось восемнадцать лет. Были эти дети довольно диковатые, среди них не было тех, кого я встретил позже в Ярославле, в зоне, то есть молодых людей из уголовных семей. Это, в общем, были... кто-то, попавший за изнасилование, кто-то за какие-то кражи, но случайные и первый раз. То есть это вообще был усиленный режим, то есть там вообще не было «вторичных». Но еще и, к тому же, и не было опытных, многому научившихся от своих соседей, от своих родственников, от своих родителей. Был один человек «опытный», не за счет своего большого уголовного опыта, а за счет того, что его какое-то сложное хозяйственное дело рассматривали уже два или три года, и, соответственно, у него уже тюремный опыт был длительный. И было очевидно, что и по характеру он такой... по-видимому, и в жизни и до ареста достаточный хитрован, но уж в тюрьме, конечно, переменяв к тому же десяток камер за эти несколько лет, может быть даже четыре года, он уже многому научился.

С. П.: Но это был такой... скорее бытовые знания, да? Сейчас будет это, это, тебя ждет это...

С. Г.: Что?

С. П.: Это были скорее такие бытовые знания, нежели он пытался как-то насадить какие-то, я не знаю, воровские там, не знаю, тюремные законы.

С. Г.: А, нет, воровских у него особенных не было, а вот тюремных было достаточно.

С. П.: Ну, например.

С. Г.: Один... Ну, например, ну, один из мальчишек, по-видимому, очень наивный... рассказал, что он до этого был проводником в поездах и... Не помню, за что его арестовали, может быть, за пропажу чего то, может, еще как-то. И рассказал, как его... как однажды в его вагоне оказалось двое или трое каких-то кавказцев, то ли грузин, то ли еще кого-то, которые его напоили до смерти, а потом выбросили из поезда. Ну, и этот многоопытный сорокалетний мужичок тут же сказал: «Ну, так они же тебя, конечно, поймали». И мальчик как-то не очень активно это опровергал. И тот тут же начал убеждать: «Ну, так что, тебе же так хорошо будет в зоне, вот, с тобой там будут спать или это самое, и все тебе за это будут платить, и все тебе, вот... и ты так хорошо устроишься, и вообще, это самое». И тут же начал уговаривать его: «Ну, давай, вот... А тебе лучше как вот — в рот или в задницу?.. Ну, вот ребята тебе сразу же скинутся и каждый тебе что-нибудь за это подарит». И начал, действительно, собирать какие-то там, я не знаю, свитера... И тот решил, что, вот, безобиднее в рот, и действительно был изнасилован. Ну, не изнасилован, а вот добровольно вот так вот... Этот сорокалетний мужик его уговорил, и не знаю, человек десять из этих тридцати согласились...

Гораздо более жесткой и противной, слава богу, ничем не кончившейся, была другая ситуация. Ну, был какой-то обход, то ли прокурорский, то ли еще что-то такое, такой контрольный по камерам. Был и в нашей камере. Но никто ничего особенно не сказал, никто ничего особенно не... ни этим прокурорам не доверял, не считал, что что-нибудь лично для него может улучшиться, никто ни на что не жаловался особенно. А на следующий день пришел так называемый кум — дежурный по... Ну, это называется ДПНК — дежурный помощник начальника... (Поправляется.) ДПНТ — дежурный помощник начальника тюрьмы, они меняются вот так вот регулярно. По-моему, это был ДПНТ, а может быть, оперативник, не помню, кто, какой-то капитан, который пришел и сказал там вот в камере через... Очевидно, надеясь на мальчишек, а может быть, зная уже, что произошло с этим... Ну, потому что осведомители были во всех камерах, конечно, — что вот там вот кто-то в соседней камере наговорил прокурору неизвестно чего наврал, пожаловался на это самое. Давайте я его к вам брошу, е..те его во все дырки. Ну, я как-то слабо попытался возражать, но, к счастью, кто-то другой вполне внятно и громко сказал: «Ну да...» «Ну, и вам ничего не будет». — «Это сейчас говорите, что ничего не будет, а потом...». Ну, и никто ему не поверил, и ничего из этого не вышло. Ну вот, было такое замечательное предложение.

Был первый, довольно полезный урок для меня... Ну, я действительно довольно тихо там размышлял о всяких своих проблемах где-то на верхней шконке. Ну, господи, ну, пятнадцать мальчишек, ну, делать

им абсолютно нечего, ну, скучно ужасно! И кто-то начал... что-то такое, конечно, без всякого умысла дергать и меня — по крайней мере, я так думаю. Ну, я говорю, ну, чего, ну, чего...

С. П.: Вы вроде старше были, да? Вам уже сколько?..

С. Г.: Да, я был и старше. Ну, там были еще несколько человек постарше. Я не был самым старым, я не был самым... Там было несколько человек лет по шестьдесят. Ну, смешанная камера, в общем. Был какой-то мощный приличный мужчина инженер, тоже уже давно бывший под следствием, — не очень понятно, что там было или я забыл уже — тренировавшийся, приседавший чуть не по сто пятьдесят раз на каждой ноге по одной... на одной ноге и так далее. Нет, ну, в общем, я со всеми был в нормальных более-менее отношениях, никаких проблем у меня не было. Но тут что-то такое... а я так: «Что тебе надо?»... Ну, не отвечает — не отвечает, ну, еще кто-то дернул. Еще кто-то, а я так, ну, пытаюсь вразумить: «Ну, что вы, ребята...» Пытаюсь с ними тихо и интеллигентно разговаривать. Ну, в тюрьме это не ответ, и чем спокойнее я себя веду, тем, в общем, агрессивнее начинают вести себя эти мальчишки. Я сначала жду, что, ну, их кто-нибудь там, внизу приструнит, потому что все это происходит снизу, значит, они дергают меня... Ну, не меня, а мой еще, матрас, еще как-то, одеяло, еще...

С. П.: То есть это как-то физическое уже было, да, какое-то...

С. Г.: Да, в общем, ну как-то, как-то, как-то... И становилось... и нарастало так вот. Потихоньку образовывалась какая-то просто шакалья стая такая. И тут вдруг выяснилось, что у меня есть то, что вообще в тюрьмах очень ценится — это очень ценят уголовники и называют это «душок», когда ты вдруг совершенно теряешь самообладание, совершенно, ну вот, впадаешь в бешенство, становишься неконтролируемым человеком. Таких людей стараются не задевать, потому что неизвестно, что ждать. А я вдруг, видя, что, вот, стоят с одной стороны, а с другой стороны, действительно разозлившись, вдруг разъярился, а уже начал кто-то лезть ко мне наверх на шконку.

 **И уже совершенно не думая, разобьют они себе головы об пол или не разобьют, сбросил их всех на пол, и они мгновенно утихли.**

И потом я спросил этого, в общем, очень мощного парня-инженера: «Почему ты им с самого начала не сказал, чтобы отстали?» А он мне ответил: «Нельзя помогать или защищать человека, который сам не защищается». И, в общем, это важное такое действительно тюремное правило, потому что... — я не всегда ему следовал, но человек... Ты, может быть, и защитишь человека, который сам не отбивается и не защищается, но в конечном счете ты попадешь в положение, при котором он подставит и предаст и тебя.

С. П.: Ну да, логично.

С. Г.: Потом я много раз это проверял в тюрьмах в разных ситуациях. Вот. Ну, что вам рассказать еще?

С. П.: Ну, это, я так понимаю, всего лишь вы сидели в «осужденке», да?

С. Г.: Да, это было два месяца...

С. П.: Да, значит...

С. Г.: Вот в это время я как раз и сообразил, что я забыл... уже где-то в ноябре, а у меня 8 октября именины, сначала я сообразил, что я забыл о собственных именинах, а я любил ездить в Троице-Сергиеву Лавру, там — и там в Сергиев день собираются люди со всех... со всей России, стоят в очереди к мощам. После чего сообразил, что я забыл и о дне рождения своей матери. Ну, в общем, это был... Я могу еще чего-нибудь в связи с Матросской тишиной, если хотите, вспомнить. Там, скажем, какой была еда.

С. П.: Да, это тоже я хотел вас спросить. Я, правда, думал это, может быть, привести к голодовке...

С. Г.: Потом был... было очень... Вот, что касается второй вот этой моей камеры, в которой я пробыл дольше всего, да и первой, собственно говоря — было несколько очень странных вещей. Ну, была очень

важная вещь, о которой я вспоминал всегда, вспоминаю до сих пор. Ну, в соответствии со своим характером, со своим воспитанием или самовоспитанием, я никак не находил ни с кем общего языка из следователей... Мне периодически говорили — особенно вот этот вот стукач в камере говорил: «Вам же надо думать о детях». Ну, и вы сами понимаете... что при том, что можно быть убитым в конечном итоге, и все это было результатом все... того же моего отношения к этому советскому миру. Анюшке пришлось уезжать в Париж... Естественно, я все время думаю о том, правильным ли был этот выбор... Но тогда, на самом деле, этого выбора еще не было. Когда мне говорили, что надо думать о детях, и говорили и о благополучии. В 75-м году жизнью детей не шантажировали. Это уже... и до этого и после этого появилось. Тогда все-таки, к счастью, этого не было. Хотя в то же время — как бы странно и стыдно об этом вспоминать — но первые две недели я больше всего скучал не столько о семье, сколько о собаке. У нас был французский бульдог, который совершенно меня обожал. И когда я приходил домой, он кругами носился вот так вот по комнате от восторга и даже писал он немножко, — так он был счастлив, что, вот, наконец, я пришел домой. И вот это вот непосредственное такое вот выражение ежедневное любви при этом, что у нас традиционно в доме — и это было в доме и у моей матери и всегда — ну, спокойные отношения были. Без него оказаться было в общем-то очень... сначала очень трудно. Ну, недели через две все, конечно, становилось на свои места и начинало соответствовать реальному своему значению.

В тюрьмах имеет очень большое значение еда. Ну, многое имеет значение, в том числе и еда. В Матросской тишине еда была грязная. Это был плохой хлеб, такой, второго выпека, знаете, вот собирают,... липкий. И какая-то похлебка с вываренными кильками. Ну, не знаю, тем не менее, в общем... Ну, и каша, конечно, разные каши, вот. Тем не менее, это не было катастрофой, потом я попадал в голодные тюрьмы, и это уже было совсем другое дело.

С. П.: Голодные были от нехватки или просто как принципиально...

С. Г.: Нет, нет, это был способ воспитания. Такой тюрьмой был Верхнеуральск, например, где, наоборот, все было идеально чисто, где была замечательно прозрачная похлебка, в ней вот так вот плавала половинка одной картошки небольшой — и больше ничего не было. Ну, это отдельный рассказ, вот, если мы дойдем до Верхнеуральска.

С. П.: Надеюсь.

Пересылка

С. Г.: Вот. Но в это время на 76-й год, по-моему, планировалось, на январь, что ли какая-то спартакиада, что ли в Москве, я уже не помню, что. Или, может быть, съезд это был очередной. В общем, так или иначе, освобождали тюрьмы. Это была... было советское обыкновение: был список людей, которых во время таких важных событий на всякий случай на два-три месяца арестовывали. Но это уже позже было, потому что сначала меня... Значит, когда кончился суд, меня перевели на Красную Пресню. Это уже была пересылка.

С. П.: То есть это уже третья камера получается, да? После вот этой, которая была...

С. Г.: Это уже даже четвертая, потому что две были в Матросской тишине, одна была... то есть три были в Матросской тишине, и потом была камера на Красной Пресне, где мы встретили новый 76-й год. Это была уже очень интересная камера, потому что Красная Пресня... Во-первых, кстати говоря, она была чистой, аккуратной и, по-видимому, с вполне исполнявшимся и приличным режимом содержания. И при этом она была областной пересылкой, то есть она была не чисто московской тюрьмой. Но в результате там были очень любопытные люди из разнообразных городов Московской области, с, ну, очень разными сюжетами своих «дел». Один молодой человек, например, был... осужден за убийство какой-то старухи.

С. П.: Достоевский прямо.

С. Г.: Да. Ну, причем не только старухи, но и старика. Но это было... по-видимому, там был какой-то грабеж,

но он утверждал, что никакого грабежа не было — она была колдунья. Она была колдунья, и она заколдовала то ли их корову, то ли что-то такое в каком-то маленьком поселке. И он на самом деле к ней пришел просто, чтобы сказать ей, чтобы она не колдовала. И они тихо с ней говорили, но тут выскочил ее муж, решив, что он ей угрожает. И тогда он там разбил голову этому старику, а потом ей. Но он при этом забрал те палки, которыми она наколдовала. А когда принес домой, оказалось, что одна косточка, а вторая — куриная чуть ли не, — а вторая еще что-то такое. И он даже на суде: «Даже наша учительница сказала, что, конечно, она была колдуньей, и это все знали». Это были вообще совершенно замечательные рассказы о «неразменных рублях», о колесах, которые сами катаются... Иногда с упоминаниями о богах в церквах.



То есть было совершенно очевидно, что никакое христианство даже до Московской области не дошло.

Это было абсолютное такое вот... Это действительно были представления о... ну, такие совершенно первобытные. И потом по моей инициативе устроили Новый год, даже с каким-то розыгрышем подарков, еще что-то такое и с каким-то самодельным тортиком. И вызывали духов.

С. П.: Ничего себе, прямо в тюрьме — духов!

С. Г.: Ну, на Новый год, на Новый год, вот, вызывали, ну, или... ну, не знаю. И в тот момент, когда... ну, вот, дух должен был появиться, открылась «кормушка», и, очевидно, (*смеясь*) подслушивавший охранник воткнул вот так вот локоть в это самое... Нет, ну, в общем, это было очень интересно, действительно по-настоящему интересно совершенно вот, понимаете, вот.

Ярославская тюрьма и зона

С. П.: Такое погружение в народ, такой странный, такой срез неожиданный.

С. Г.: Да, да. Нет, это было любопытно чрезвычайно, но вот, долго, к сожалению, я там не просидел вот как раз именно потому, что я несколько забежав вперед начал говорить, потому что, вот, освобождали московские тюрьмы. А для того, чтобы собрать всех тех, кого теперь называют бомжами, вообще всякими людьми ненадежными, которых так нормально не судили, но которые могли нарушить, нарушить порядок. И нас вывезли в ярославскую тюрьму, что, в общем, было противозаконно, потому что... ну, приговоры не вступили в законную силу еще, и нас не имели право отправлять никуда. То есть, по крайней мере, меня вывезли в ярославскую тюрьму. Там я впервые встретился как раз с тем, что вызвало у вас такую усмешку, когда я рассказывал о следователях. Пришел начальник одной из колоний, вот такой лысый — они все. И он начал спрашивать, у кого какие профессии. И отбирать, вот. Ну, после недолгих... Ярославская тюрьма — одна из старейших в России, из тех, которые построила Екатерина Вторая, вот, первых российских тюрем. Ну, тоже пробыл не так уж долго, и попал в образцовую зону ярославскую на окраине Ярославля. Называлось это такой поселок Юдово. И было рядом с каким-то заводским... Вы можете попроситься, если вы боитесь, что будет записываться звук...

С. П.: Да, если можно, да.

С. Г.: Вот. Ну, что. Во-первых, это была образцовая зона. А, во-вторых, меня тут же отправили в первый отряд.

С. П.: А это что-то значит, да, что в первый?

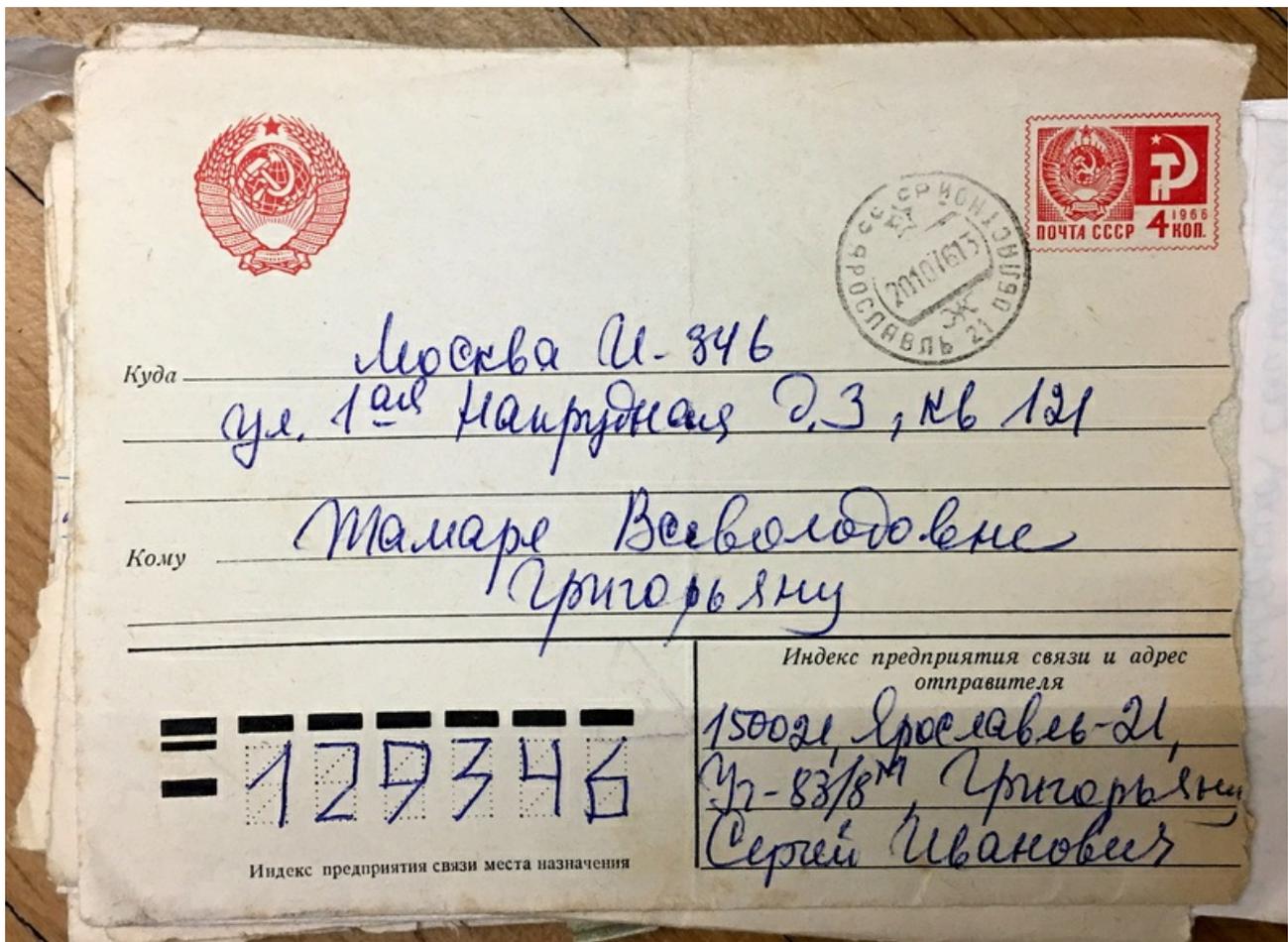
С. Г.: Ничего не значит. Ну, особо такой образцовый. Начальником которого был какой-то юный очень смазливый лейтенант розовощекий такой и который очень обрадовался, который учился заочно, по моему, в каком-то юридическом институте и решил, что именно я ему буду писать всякие курсовые для этого института. Но... об этом он, естественно, мог только мечтать, ничего писать я ему не собирался.

Тогда он начал писать какие-то заявления о нарушении мной режима содержания, но... в интересы администрации никак не входило ссориться со мной. Меня просто перевели в другой отряд. Перевели в другой отряд, дали мне, в общем, довольно такую синекурную должность заведующего какого-то склада готовой продукции. Разрешили носить домашние туфли вместо сапог. По-моему, я даже носил, правда, выкрашенные в черный цвет, но вранжелевские джинсы вместо...

С. П.: Это какая-то привилегия же, да, получается?

С. Г.: Да, конечно. Нет, мне тут же дали свидания там на трое суток. Причем для того, чтобы дать мне свидание на трое суток надо было... Ну, это считалось поощрением, для поощрения нужны основания, значит, мне за что-то выписывали там благодарность. Ну, в общем, какое-то время продолжалась эта идиллическая жизнь. А потом она постепенно начала нарушаться.

С. П.: А в чем еще идилличность? По сравнению с тюрьмой у вас было больше свободы, да? Чисто, вот, физической?



Письмо С. И. Григорьянца жене из Ярославской колонии

С. Г.: Ну, конечно, ну, это, так или иначе, я живу там в каком-то большом бараке, но я могу выйти, я могу... Я распоряжаюсь своим временем, я сам выбираю себе знакомых, я... Там, я не знаю, 500 человек, из которых я выбираю, с кем я хочу общаться, с кем не хочу. Ну, наконец, я начал получать регулярные бандероли из дому. И, конечно, тут же нашелся на этом заводе, для которого работали заключенные, какой-то инженер, который мне радостно сказал, что он так мне сочувствует и так и он готов передавать мои письма домой. И я начал получать письма. И он мне еще передавал какие-то от жены

там голландские бульонные кубики, шоколад, еще что-то такое. В общем, это была вполне идиллическая жизнь, но недолго. Некоторую настороженность вызвало то, что на черной «Волге», прямо чуть не въехав в зону, из Москвы приехали гебисты, в том числе одного из следователей я помню, фамилия его была Сахаров. И начали мне объяснять всякие замечательные вещи. Ну, вообще они как бы дожидались того, что я попаду в зону, и считали, что я страшно испугаюсь. И они проверяли испугался я или не испугался. Но оказалось, что я не сильно испугался. У них были еще какие-то конкретные такие вот соображения. Вот я упоминал об этом киевском коллекционере Игоре Дыченко — они начали о нем расспрашивать. Он, по-видимому, продал какие-то там вещи кому-то из иностранцев, что-то такое. Хотя, в общем, его никогда не посадили, ничего с ним никогда не случилось. Начали меня выспрашивать, напомнили: «Но вы же помните, как он плохо о вас отзывался?» Я говорю: «Ну, что, ну, бывает в жизни. Вот он ко мне плохо относится, а я к нему хорошо».



А потом что-то разозлившись, сказал: «Ну, вы что знаете, даже если бы я плохо к нему относился, что, я буду сводить с ним счеты с вашей помощью?»»

Начали расспрашивать о моем адвокате Юдовиче, много ли он взял с меня денег. Ну, он уезжал в Израиль. Но, во-первых, с нас адвокаты денег не брали, во-вторых, опять-таки, я не сильно был доволен Юдовичем. Мало чем он мне помог и все-таки я был не очень опытен, и на самом деле он мне мог что-то подсказать разумное и не сделал этого. Но... тоже, в общем, как-то они все пытались меня уговорить: «Ну, ведь, ну, вы же понимаете. Ведь мы же можем, ну, например, вот, вам помочь работать в Третьяковской галерее». Тут я очень заинтересовался и с интересом спросил: «А там что, работают все по вашей рекомендации?» — «Ну, нет! Ну, что вы! Но... но, вот, вам же так нравится живопись! Вот мы готовы вам помочь». И тут я, уже совсем разозлившись, сказал, что вы что, думаете, что я буду с вами разговаривать, зная о том, что у меня жена, будучи беременной, теряла сознание и падала на пол?! «Да нет, это не мы!». Ну, как бы ничего умного из наших разговоров не вышло. Было очевидно, что эта комната в администрации... тюрьмы прослушивалась из соседней комнаты. И когда меня вывели в эту соседнюю комнату, где сидело руководство колонии и я увидел совершенно белые их лица, они не могли понять вообще, как, вот... Они явно слушали все это. Но тут-то все дело в том, что... подходил один год и восемь месяцев со времени моего ареста.

С. П.: А, то есть уже.

С. Г.: А в это время по тюремным по тогдашним правилам можно было переходить на поселение, на «химию». А у меня вообще ничего, кроме благодарностей нет и вообще я совершенно идеальный. Я начал требовать, чтобы меня перевели на «химию». Меня пытался вразумить начальник колонии. Говорит: «Григорьянц, но вы же понимаете, что это не от меня зависит. *(Смеется.)* Ну, что вы, я этого не решаю». Ну, и, в общем, моя идиллическая жизнь в колонии на этом кончилась, потому что, хотя... Ну, причем там было много любопытных людей, надо сказать. Там был племянник Гамарника, инженер. Там был какой-то родственник чуть ли не Абакумова, там был... Ну, в общем, как-то много каких-то забавных людей, и вообще все мне было интересно и не так уж плохо, но я начал бороться за свое освобождение на «химию». А если они сами меня не направляют, я начал писать жалобы в прокуратуру, что я совершенно идеальный, образцово-показательный вообще заключенный, который заслужил отправку на «химию», а меня не отправляют. Но тут мне объявили взыскание за то, что я ношу домашние туфли вместо сапог... Ну, в общем, все начало меняться довольно срочно, быстро. Одно взыскание следовало за другим, и я объявил голодовку. И вот это вот было уже очень серьезно. Ну, сначала это, в общем, их не касалось. То есть, конечно, ничего хорошего в том, что... Ну, они понимали, что довольно крупные силы решают всякие связанные со мной обстоятельства. Да, а ко мне еще приехала адвокатесса опять-таки для того, чтобы добиться... Причем Юдович уже уехал, никто из московских адвокатов не соглашался заниматься — это было все довольно сложно. И в конечном итоге... по-моему, Владимир Яковлевич Лакшин, может быть, сам, может быть, с подачи Игоря Александровича Саца «Новый мир»,

поговорили с Расулом Гамзатовым, который был членом редколлегии «Нового мира», и тот устроил адвоката, который ко мне приехал. А моя мать еще пошла к академику Котельникову, своему детскому приятелю, но который был в это время председателем Президиума Верховного совета РСФСР, в общем, полуноминальная такая должность... А может, СССР, не помню уже. Он был крупный физик... такой атомщик, то ли учеником деда моего, то ли что-то такое. И тот тоже как бы какой-то интерес к этому проявил. В общем, вокруг меня начали какие-то вот... собираться какие-то такие неприятные обстоятельства. И тут еще я голодовку объявил. И сначала это было, в общем, все довольно идиллически, только они не делали искусственного питания, но держали меня сначала в больнице. И это были большие окна, а я уже, в общем, так вот исхудал до такого состояния примерно как в Освенциме, день на двадцать пятый, что-нибудь так, на тридцатый.

” И это было очень странное ощущение своего тела, которое уже совершенно неотделимо от всей окружающей природы. И вот за окном идет дождь, и ощущение, что он идет через тебя.

Но потом оказалось, что через эти окна мне всякие сочувствующие в лагере пытаются подкинуть хлеба. И тут меня перевели в карцер. И вот это было уже совсем сложное обстоятельство, потому что примерно в это же время в карцер попал старый осетин, пастух... откуда-то с гор... Ну, что, ну, господи, ну, советская жизнь. Естественно, это его стадо было в каком-то колхозе, и председатель колхоза, которому и самому хотелось и гостей принимать надо, сказал этому старику, чтобы он зарезал один раз барашка, второй раз барашка, третий раз барашка... А отчитывался, что они сами там куда-то с гор упали и разбились. И этот пастух стал отказываться, и его вызвали в местный сельсовет, и этот директор начал на него кричать, что, вот, делай что тебе говорят. А тот ничего... в общем, не понимая никакой советской жизни, сказал: «Я не умею врать! Меня не учили врать!». Схватил какую-то чернильницу и в него бросил, попав в стенку. И его обвинили в покушении на должностное лицо, еще в чем-то, еще в чем-то, и он попал в зону. Но он вообще не понимал всей этой жизни. Ну, господи, он был неграмотный горный пастух.

С. П.: Но по-русски говорил при этом, да?

С. Г.: Ну, кое-как.

С. П.: Понимал, что такое происходит.

С. Г.: Ломано говорил. А тут надо было ходить на завод какой-то. И это тоже от него толком нельзя было добиться и нельзя было объяснить, что там надо делать и как там. И его посадили в карцер рядом со мной. А он никогда не был в таком темном и замкнутом пространстве. И он просто как птица начал биться в этой темной норе, начал кричать от ужаса. Ну, и его побили, чтобы он утихомирился. Он пришел в себя — опять начал биться. Его опять побили, и уже побили так, что пришлось вызывать «скорую помощь», и в машине он умер. Я знал этого старика, жалко мне было его безумно. И кроме своих требований, что я же жду немедленно попасть на «химию» и имею все права на это, а все претензии ко мне вообще выдуманы, я еще начал писать о том, что умер он в карете «скорой помощи», но били его вот здесь вот, в карцере. И вот это совершенно — я не понимал тогда этого — совершенно меняло мое положение, потому что само заявление об убийстве требовало следствия... Причем это касалось уже не только этих охранников, которые его били, но и тех, кто его посадили, и режим. То есть с этого момента я — и это самая опасная ситуация в любой голодовке, я не помню, мельком, кажется, я вам объяснял. А у администрации колонии была личная заинтересованность в том, чтобы меня задавить. Уже там не какие-то жалобы, не какие-то... Ну тем не менее, все это как-то сперва длилось... о голодовке то, что никто, по-моему, не писал.



Еще ведь очень тяжело то, что ты, когда уже доходишь до такого состояния, очень больно лежать. Уже нет никакого жирового слоя, и какие бы ни были легкие у меня кости, но они прямо опираются на нервные окончания, давят вот так вот.

Очень трудно найти какую-то, ситуацию, когда бы, вот, не было вот этой боли постоянной. Вот, плюс к этому, приехал... Ну, конечно, мой необычайно доброжелательный инженер, что я понимал, в общем-то, с самого начала, все письма передавал куда надо. И тут выяснилось, что одно из писем, видите ли, я адресовал не себе домой, а на какую-то другую улицу, а там было описание того, что происходит в лагере. Ну, и конечно, человек, получивший письмо с совершенно секретными сведениями тут же принес его в КГБ. И меня тут же, значит, мне начали предлагать новые три года за разглашение сверхсекретных сведений о положении в нашей колонии. А параллельно приезжали прокуроры и уговаривали меня: «Ну, может быть, ну, давайте мы вас переведем в другую колонию». А я тут же выбрал вариант, который меня устраивал. Как этот городок, ну вот, где учился Андропов — Е... Ну, там, на Волге, где он был матросом*... Ну, не важно. Я знал, что там была тюремная психиатрическая больница. Причем поскольку она была тюремная, то и вся обслуга была из зеков. И вот это вот мне было очень интересно. Они там мне предлагали все — я уже с трудом ходил, честно говоря, — все зоны на выбор, а вот меня интересовала только вот эта психбольница. Но вот туда они меня переводить не хотели. Так шло время, и в конце концов, каждый день ко мне приходил врач.

* В 1932—1936 гг. Ю. В. Андропов учился в Рыбинском речном техникуме.

С. П.: Но при этом принудительно вас не кормили?

С. Г.: Нет, нет. Это уже было дней 50 или я не знаю, сколько. Я к этому времени уже не вставал практически, и в качестве параша мне в угол поставили такой бак молочный большой. Воду я пил, ну, чай там какой-то. А потом я уже перестал... Ну, дело в том, что с этим было уже трудно справляться, потому что у этого бака была крышка, он стоял в углу так вот рядом с моей шконкой, а у меня не хватало руки, потому что для того, чтобы оправиться, надо было одной рукой держаться за стенку, потому что иначе... Другой держать эту крышку, а третьей, простите меня, собственные причиндалы. И трех рук у меня уже не было. Да, и, в общем, вставить мне не хотелось, и пить мне уже не хотелось. Каждый день приходил врач и всегда шутил, что-то забавное рассказывал, я как-то на это реагировал, что-то там... из вежливости улыбался. А потом однажды он пришел... Кажется, я не открывал глаза, потому что я не помню его фигуру, я помню голос надо мной. Он опять что-то рассказал такое забавное, а у меня уже не было сил улыбнуться. Я вдруг над собой услышал совершенно другой, совершенно переменившийся жесткий голос: «Пропали эмоциональные реакции». И он повернулся и вышел. А после этого то ли на следующий день, то ли через день они впервые сделали искусственное питание, что было... Ну, сопротивляться я не мог совсем... Они меня практически вынесли посадили на кресло в коридоре. Ну, конечно, это... Во-первых, это была довольно горячая, и там было яйцо какое-то сырое и еще. Это было очень питательное. Мясо есть еще к тому же. И после такой... такого перерыва, в общем, это было... достаточно тяжелое испытание — меня всего разрывало просто на части... Ну, ничего, как-то выжил. И на следующий день они опять сделали искусственное питание. И через день опять. И так было пять дней. А потом перестали. Дело в том, что в голодании самые мучительные первые пять дней, когда перестраивается организм. И вот это вот через пять дней... за пять дней организм привык получать что-то из желудка, и через пять дней я начал опять голодовку таким образом. И ну, я был все-таки в таком состоянии, что через пять дней они опять начали искусственное питание. И опять делали пять дней. И так повторялось дней пятьдесят — вот каждые десять дней они пять дней делали искусственное питание, потом прекращали.

С. П.: То есть в общей сложности дней сто получилось, да?

С. Г.: Наверное, да, я не знаю, сколько. Вот, ну это... вот это настоящая... Такого варианта пытки я никогда

не встречал ни в одной... ни у кого и ни в каких описаниях. И тут еще... Ну, и, в общем, кончилось дело тем, что... Ну, значит, пока они делали искусственное питание, я все-таки сам мог дойти до туалета, и однажды в какой-то такой... в каком-то баке с мусором я увидел объедок черной буханки, залитой каким-то красным соусом, я взял его и съел. Взял, спрятал, съел. Но, по-видимому, за мной аккуратно следили, и уже на следующий день у меня на дороге лежала чистая буханка хлеба.

С. П.: То есть вас как бы провоцировали на то, чтобы закончить голодовку, да?

С. Г.: Да, да. И вполне это удалось, я действительно взял эту буханку. Они тут же, значит, обвинили меня в краже буханки, а я написал заявление о прекращении голодовки. Ну, трудно сказать, чем бы это дело кончилось, но в зоне начался бунт, настоящий бунт.

С. П.: А чем он был вызван?

С. Г.: Не знаю, но я уже к этому времени там... почти четыре месяца там не был. Ну, наверняка какими-то непотребствами. И тут, в общем, все мои дела несколько отошли на второй план, меня обвинить в этом было нельзя никак, поскольку я был изолирован. Ну, в общем, как я и ожидал, начальника зоны сняли, начальника по режиму, по-моему, разжаловали до лейтенантов, а меня вместе с парой инициаторов бунта перевели на тюремный режим. Где-то состоялся суд. К этому времени я уже, значит, кое-как недели две или три ел, то есть, в общем, кое как ходил...

С. П.: В смысле состоялся суд над кем? Над зачинщиками этого бунта?

С. Г.: Ну, и над ними, но я их не видел.

С. П.: А вы как оказались рядом с ними?

С. Г.: Ну, и меня тоже, ну, просто...

С. П.: Просто приписали в зачинщики?

С. Г.: Нет.

С. П.: Нет?

С. Г.: Нет, просто, ну, как бы разные поводы. Меня за нарушение режима содержания...

С. П.: А, понятно.

С. Г.: Их за... Вот. Ну вот так вот я... Это уже началась совершенно другая жизнь.

С. П.: Может быть, мы с вами здесь поставим точку с запятой.

С. Г.: Давайте поставим.

С. П.: Как раз, мне кажется, будет хорошее сюжетное решение.

С. Г.: Хорошо, хорошо.

С. П.: Ну что ж, по-моему, очень интересно.

С. Г.: Как есть.